### Дневник имморталистки

Светлана Ягупова

Когда мне было четыре года, я как-то надела мамины летние очки и обернулась к окну, чтобы сквозь зеленые стекла посмотреть на небо, деревья. Тут на подоконник вспрыгнула бродячая дворовая кошка, похожая на маленькую пантеру с длинными глазами. Я ахнула, сдернула с носа очки и резким движением спугнула гостью — она исчезла. В моем детском уме мгновенно возникла связь кошки с очками, я поспешила вновь надеть их — о чудо! — опять увидела на подоконнике маленькую пантеру.

Долго не расставалась я с волшебными очками, надевала, как только наступала весна. Правда, теперь уже из-за конъюнктивита, который начинается у меня с цветением акации. А недавно очки слетели и, кажется, навсегда.

Бабушка у меня была из настоящих, таких теперь встретишь разве что в кино: в группу здоровья не ходила, всю себя отдавала нам, ее внукам и правнукам. Если быть точной, мне она приходилась «пра», однако так ее называла только моя одноклассница Зоя Скляренко: «Твоя пра, скажи своей пра...»

Два бабушкиных сына погибли в войну, один из них был моим дедом, то есть отцом папы. У него и мама умерла в войну, поэтому бабушке пришлось самой выращивать его. Было очень плохо с питанием, и чтобы как-то прокормиться, она сдавала свою кровь — по одному-два стакана в месяц, а взамен получала талоны на продукты.

Она и меня воспитала, потому что папу часто переводили из одной воинской части в другую, мама ездила с ним, а поскольку я постоянно болела бронхитом и пневмонией, бабушка не отпускала меня.

Как-то Зоя Скляренко спросила: «Твоя пра кто по профессии?» Это прозвучало так странно, что я рассмеялась и ответила: «Она по профессии бабушка». Потом спохватилась — а ведь и впрямь не знаю. Стала расспрашивать, и выяснилось, что бабушке приходилось работать на заводе, сажать деревья в лесополосах, таскать мешки с мукой, мыть полы. Образование у нее — всего четыре класса, и она гордилась тем, что ее внук, то есть мой папа, закончил военное училище, а потом академию.

Однажды я зубрила историю, а она говорит: «Вся твоя история у меня вот здесь и вот тут», — и хлопнула себя при этом по лбу и по груди. А потом рассказала, как она перед революцией работала в Севастополе на морзаводе подручницей закройщика и как в цех к ним заглядывал «такой боевой матросик Ванечка Папанин». Это был тот самый Иван Папанин, знаменитый полярник, который возглавлял первую дрейфующую станцию, участник гражданской войны в Крыму. У нас в школе его портрет висит на стенде, там же фотография матроса Матюшенко, которого бабушка, оказывается, тоже знала, когда жила в Севастополе.

Последнее время она, вероятно, чувствовала себя очень одинокой, ее сверстники умирали один за другим, осталась лишь соседка по старой квартире Максимовна, глуховатая, с больными ногами старушка. Бабушка навещала ее, но потом они только по телефону общались. Поскольку Максимовна очень плохо слышит, бабушка нервничала, кричала в трубку и обзывала ее старым глухарем. Та не обижалась, даже посмеивалась и все говорила, что если бабушка умрет, то она не продержится и дня, полетит догонять ее. И вот на девятый день после бабушкиной смерти, как раз на поминках, раздался звонок, мама взяла трубку, но говорить не смогла, заплакала. Я поняла, что звонит Максимовна. Когда она позвонила в следующий раз, я сказала, что все в порядке, что бабушка легла на профилактику в больницу и пробудет там с месяц.

Недавно Максимовна опять звонила, я опять соврала, что бабушке продлили профилактику, а потом вернулась на кухню, но есть уже не могла. Снова вспомнила тот день.

Я тогда отпросилась с английского — очень болела голова. У меня свой ключ — чтобы не беспокоить бабушку, если она приляжет отдохнуть. Обычно к моему приходу она разогревала обед, и как только я открывала дверь, выходила из кухни и расспрашивала, что у меня в школе. Я, конечно, не обо всем докладывала, а лишь об отметках и каких-нибудь смешных происшествиях. В этот раз бабушка не появилась, я решила, что ей нездоровится, и не стала ее тревожить.

Я спокойно пообедала, затем негромко, чтобы не разбудить бабушку, включила маг и слегка подергалась под «хэви металл», даже на диване успела поваляться, думая о том, какой же дурак этот Латукин — опять выругался матом, и я объявила ему бойкот: месяц не буду разговаривать, хотя сидим за одной партой. Уже было стало подремывать, когда зазвонил телефон — мама просила узнать у бабушки, нужна ли аптечная ромашка.

Я вошла в комнату и, не дойдя до кровати, остановилась — бабушка лежала в какой-то неловкой позе, глаза ее были открыты и неподвижно смотрели в одну точку. Я окликнула ее, уже что-то понимая, но еще не до конца веря этому. Она не шевельнулась, и тогда мне стало страшно, я закричала. Забыв о телефоне, побежала к соседке, но той не было дома. Я знала, что и в других квартирах никого, все на работе. Вспомнила о ждущей у телефона маме, подскочила к трубке и что-то такое выпалила.

Они примчались вместе, мама и папа, но минут через двадцать. А за это время вот что случилось. Я подошла к бабушке, и хотя мне было очень страшно, прикрыла ей глаза ладонью — как это делается, я не раз видела в кинофильмах. Но бабушкины глаза не хотели закрываться! Пришлось несколько минут подержать руку на ее лице. И вот за это время страх мой куда-то улетучился. Беспомощная, неподвижная бабушка лежала на кровати и была как бы укором мне, полной здоровья и энергии. На какой-то миг я ощутила себя вампиром, насосавшимся бабушкиной крови — такой она стала прозрачной, светящейся, и так жарко горели мои щеки. Когда я держала руку на бабушкином лице, меня поразило, что оно было ледяным. Притронулась к руке — тоже холодная и какая-то твердая. «Как же так? — металось в голове. — Теплая бабушка превратилась в холодную бездушную колоду?» И хотя я не раз видела покойников — правда, в основном, со стороны или в фильмах — в сознании никак не мог уложиться тот факт, что еще недавно движущийся, дышащий человек вдруг стал чурбаном, и его надо поскорей зарыть в землю.

Будто кто перетряхнул мои мозги. Мне показалось, что я живу среди ненормальных: вокруг рыщет смерть в поисках все новой и новой добычи, а люди преспокойно живут, едят, поют песни, занимаются разной чепухой, вместо того, чтобы все свои силы направить против этого ужаса. И ведь каждый знает, что он смертен, но думает, будто его кончина за горами. Вся история человечества с ее войнами, голодом и болезнями предстала вдруг чем-то таким ненормальным, что я с ужасом подумала — как человеку удалось вообще выжить?

К приходу родителей я уже совсем перестала бояться. На подоконнике метался в клетке бабушкин любимец, попугай Петруша, и как-то испуганно спрашивал: «Кто там? Кто там?» А я сидела на стуле у кровати и думала, думала, думала.

«Врожденная имморталистка», — сказал папа, когда я за ужином в очередной раз стала толковать о том, что человек должен жить вечно. Заглянула в энциклопедический словарь, но слова «имморталист» там не нашла, зато было нечто похожее, но совсем с иным смыслом — «имморалист», то есть человек без нравственных устоев. И еще «иммортели» — то же, что бессмертники.

Знаю, что нельзя так долго убиваться, а все равно то и дело захожу в бабушкину комнату, подолгу сижу на ее сундуке. Я стеснялась приводить сюда подружек — комната казалась мне по-деревенски убогой, и когда хотелось показать кому-нибудь Петрушу, забирала отсюда клетку, отчего бабушка сердилась. Я не желала, чтобы подружки видели этот обшарпанный платяной шкаф, буфет, поеденный шашелем, допотопный сундук и особенно икону Богородицы на стене, которую бабушке подарила на день рождения Максимовна.

Из-за этой иконы был скандал: папа кричал, что он партийный, и в его доме не место иконам, а бабушка упрямо говорила, что в своей комнате она имеет право держать все, что угодно, даже лошадь. Эта лошадь так затронула мое воображение, что какое-то время я всерьез ожидала ее появления. Этого, конечно, не случилось, зато бабушка однажды привела бездомного пса Гаврика, который две недели просидел на троллейбусной остановке под нашими окнами в ожидании бросившего его хозяина.

Бабушка не раз повторяла: «Вот когда помру, можете все выкинуть из моей комнаты и обвешать ее своей шушерой». Так называла она красочные рекламные плакаты и календари, которыми мама обклеила прихожую, кухню и даже туалет. Бывало, остановится бабушка перед яркой фотографией какой-нибудь стереоустановки или известной певицы и качает головой: «И зачем такое вешать? Зачем все время смотреть на это? Смотреть надо на того, кого больше всего любишь, висеть должно то, к чему сердце лежит, что радует или печалит». Потому в ее комнате и висели фотографии всех родственников и Богородица, которую она считала матерью всех матерей.

Когда дома никого нет, я сижу в бабушкиной комнате, и мне слышатся ее шаги. А однажды вдруг четко прозвучал ее голос: «Настя, ты обедала?»

Родителей это почему-то пугает.

Отец по вечерам проводит со мной философские беседы:

— Мир, Настя, так устроен, что в нем нет ничего вечного. Сбрасывают листья деревья, умирают звери, птицы. Человек — частица природы, поэтому не может быть исключением. Во всей этой непрочности есть своя прелесть. На место отжившего приходит молодое, юное. Настанет время, не будет и нас, поэтому надо любить и ценить жизнь. Как говорила бабушка, это великий дар природы.

— Мерси твоей природе за такой дар, — зло отвечаю я. — Уж коль произвела на свет, будь милостива, избавь от ужаса смерти.

— Может, как раз этот ужас и движет человеческий прогресс. Вообрази, что было бы, стань мы бессмертны. Всеобщий хаос. Неужели тебе хотелось бы, скажем, десять лет сидеть в девятом классе?

— Зачем?

— А почему и не посидеть? Ведь впереди — вечность. И все мы — вечно молодые, незачем задумываться, куда направить свою энергию. Спешки больше нет, все прочно, стабильно. Вечно. Брр...

Мне тоже стало на миг неважно. Вечно сосед Мухин выводит на детскую площадку своего огромного дога, вечно ссорятся первый и последний этажи, чья очередь мыть лестницу, вечно тарахтит под нашими окнами мотоцикл Сашки Савельева, а Латукин вечно ругается матом.

Вот бы посмеялась бабушка, узнай об этом случае. Так и вижу, как ее рот растягивается в узкую полосочку на месте выпавших зубов, и пучки морщинок у глаз делают их похожими на детский рисунок солнышка.

А было вот что. На геометрии Латукин разложил на парте фото зарубежных девчонок, с которыми переписывается — это чтобы меня позлить. Я же сделала вид, что мне все пополам. И вдруг раздается страшный визг. Зойка Порхаева по кличке Ворона вскакивает на парту и орет как вольтанутая:

— Крыса! Белая!

Я сразу поняла, в чем дело. Это Аленов притащил своего Упырьку, очень умного и хитрого зверька. Я как-то была у Аленова, увидела клетку с Упырькой и погладила его хвост. Так он взял свой длиннющий хвост в лапы и эдак брезгливо понюхал то место, к которому я прикоснулась пальцем, обернулся и смерил меня прямо-таки по-человечески презрительным взглядом.

От визга Вороны математичке стало дурно, ее голова в завитушках упала на стол, и Домбаев побежал за водой. Другие девчонки тоже повлезали на парты и подняли такой бедлам, что из соседнего класса прибежала Нина Сергеевна и стала допытываться, в чем дело. Но ей никто не отвечал, все орали и следили за тем, как Аленов в погоне за Упырькой ползает под партами. Только Философ сохранял независимость, стоял и смотрел на происходящее с болью в очках с толстыми стеклами. А потом было такое, в чем бабушка не разобралась бы, но что я попробовала бы объяснить ей. Когда наконец Аленов сунул Упырьку в портфель, Философ печально сказал:

— Ты увеличил энтропию.

— А что такое энтропия? — спросила я.

— Это беспорядок, хаос во вселенной, — печально ответил Алька и добавил: — Недавно я сделал открытие: раз человек не в силах познать истину, ему остается одно: самому стать истиной. Кстати, у греков есть одно удивительное слово — АЛЕТЕЙЯ. Оно имеет два значения: ИСТИНА и НЕЗАБВЕНИЕ. Сечешь? Истина в незабвении. Вот какой интересный у греков язык.

— И все-то ты знаешь, — протянула я.

И тут будто что-то обожгло меня изнутри. ИСТИНА В НЕЗАБВЕНИИ. Да ведь это как раз то, о чем я все время думаю!

Не зря я в прошлом году была влюблена в Альку.

Первая клубника, помидоры, лимоны — всегда это покупалось для меня. Ну какая же я эгоистка! Ведь бабушке витамины были гораздо нужней! Ее организм таял с каждым днем, а мы не обращали на это внимания, считали, что так и должно быть.

Недавно в нашем подъезде хоронили сразу двоих: слесаря Тернова и писателя Горнеева. Мама просила меня уйти к Зое, но я нарочно осталась.

К Тернову пришло людей не меньше, чем к Горнееву. Уважали слесаря, душевный был человек, не хабарничал. Позовет сосед кран чинить — за так сделает. А любимой присказкой Горнеева было: «За так только давленые сливы». Правда, писателем он был неплохим, но на жизнь смотрел мрачно, хотя книжки писал веселые и добрые. И вот собирается грянуть для Горнеева оркестр, когда из толпы выбегает шестилетний Витёк, его внук, и отчаянно орет:

— Все равно деда не умер! И никогда не умрет! Никогда! Вы что, не верите? Он же притворился! Смотрите — улыбается!

На губах писателя и впрямь застыла улыбка. Мальчишку увели, заиграла музыка, но я все равно услышала, как соседка сказала маме: «От Горнеева хоть книги останутся. А что от бедного Тернова?»

Мне вдруг не к месту стало смешно, прямо какая-то истерика. Еле сдержалась, чтобы вслух не расхохотаться. Потом успокоилась и говорю Кабачковой:

— Увы, книжки Горнеева не бессмертны.

Получилось, что съехидничала. Кабачкова набросилась на меня:

— Мы с тобой, милочка, и этого не оставим.

Тут мне вспомнилось чье-то размышление о том, что самое великое произведение искусства не перетянет на весах вечности живого человека, и я сказала об этом соседке.

— Люди очень разные, — ответила Кабачкова. — Неужели на твоих весах какой-нибудь живой подонок перевесит, скажем, «Мону Лизу» или «Войну и мир»?

— «Моне Лизе» не больно, — ответила я опять не своими, но такими близкими мне словами, что они стали как бы собственными. — Она не может измениться ни к лучшему, ни к худшему. А у подонка, пусть самого отпетого, всегда есть шанс улучшиться.

— Настя, ты что болтаешь? — удивилась Кабачкова. — Исчезни эти произведения, и человечество духовно обеднеет. Смерть же какого-нибудь подонка может принести благо.

— Вы правы, но лишь в плане сегодняшнего дня. Для вечности ценен каждый.

Мама все это время неприязненно слушала наш разговор, но тут всколыхнулась:

— О какой вечности речь, когда столько нерешенного сегодня! — вырвалось у нее так громко, что на нас оглянулись.

— Смотри, — заметила я, — у Горнеева уши уже стали как лежалые грибы.

Мама молча схватила меня за руку и потащила домой будто малышку. Усадила в кресло, села рядом на диван.

— Настя, — сказала с дрожью в голосе, — у тебя ломкий возраст, все воспринимается очень обостренно. Но это пройдет, привыкнешь!

— А я не хочу привыкать!

— Человек испокон веков ощущал свое бессилие перед этим.

— «Этим», — передразнила я. — Боишься даже назвать своим именем. Так и говори: «Бессилен перед смертью». Но мало ли перед чем был человек бессилен. Одолел ведь и чуму, и холеру. Одолеет когда-ни-будь и смерть. Тебе не кажется, что известное «Memento mori» понимается не так, как должно? Memento — но не для того, чтобы насладиться минутой, а чтобы не привыкать к «mori», восстать против нее.

— Настя, мне страшно — откуда в тебе все это? — В маминых глазах стояли слезы, будто я сказала невесть что. — Господи, ты как-то сразу стала взрослой. Да ведь это же чудесно, что человек, зная о своей временности, живет, рожает детей, строит города, а не стоит на перекрестке с душераздирающим воплем. «Караул! Все смертны!» И почему не сделать девизом: «Помни о жизни!»

— Может, ты и права, но иногда не мешает постоять и на сквозняке этого перекрестка. А Горнеев сквозняка боялся, у него, видите ли, радикулит.

— И слава богу. Иначе его книги истекли бы слезами, а так...

— ...гремят здоровым смехом в здоровом теле и способствуют выздоровлению больных холециститом, чье исцеленное тело когда-нибудь все равно пойдет на удобрение.

— Нас-тя!

— Что, возмущена моими речами? Тогда читай Горнеева, авось наберешься радости и оптимизма.

Вот такой разговорчик произошел у меня с мамой.

Сегодня опять звонила Максимовна, и я соврала, что бабушка уехала к родственникам в Смоленск.

— Да? — удивилась Максимовна. — А кто у нее там?

— Дочь, — соврала я опять.

— И надолго уехала?

Хотела было сказать, что навсегда, но раздумала.

— Не очень надолго, — неопределенно сказала я. — Приедет — позвонит.

— Ну, передавай ей привет, — вздохнула Максимовна.

— Передам, — вздохнула я.

Вчера был необычный день, я надолго запомню его. Алька-Философ оставил наш пресс-центр и ушел к астрономам в Малую академию наук. Мне тоже очень хочется туда, но уйду попозже, чтобы не подумал, будто побежала за ним. Каждый день Алька рассказывает что-нибудь интересное. Оказывается, в нашей юношеской обсерватории очень сильный телескоп, и ребята дежурят возле него по ночам.

В прошлом году мы с классом ездили на экскурсию в настоящую взрослую обсерваторию под Бахчисараем, в поселок Научный. К сожалению, как говорят астрономы, неба не было, но мне все равно очень там понравилось. Башни телескопов похожи на застывшие перед стартом ракеты. Такое впечатление, будто здесь все настороже, в любую минуту готовы принять сигнал из космоса. И еще Научный показался мне городом будущего: небольшой, весь в зелени, фонарные столбы — высотой в метр, чтобы не засвечивать небо.

А осенью мы смотрели на Луну в телескоп нашей юношеской обсерватории, и уже тогда мне захотелось приходить сюда почаще. Здесь очень толковые ребята, как наш Алька. Когда все повосхищались лунными кратерами, я попросила дежурного старшеклассника показать какую-нибудь планету. Он навел телескоп на Юпитер, который в тот месяц был хорошо виден невооруженным глазом. Для меня было открытием, что у Юпитера, как и у Сатурна, есть кольцо, только едва заметное.

Так вот, вчера Алька пригласил меня в обсерваторию, сказал, что приезжает известный астрофизик Козырев и будет интересный разговор.

В небольшом помещении, вдоль стен которого тянулись стеклянные витрины с коллекциями метеоритов, горных пород, окаменелых раковин, собралось человек двадцать пять старшеклассников и студентов. И началась фантастика. Пожилой ученый с мировым именем часа полтора рассказывал о вещах, не совсем понятных мне, но сильно захватывающих воображение. Вначале речь шла об открытии пульсации Солнца академиком Северным и сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории. Исходя из наблюдений за солнечной пульсацией, Козырев сделал вывод, что энергию Солнца и звезд поддерживают вовсе не термоядерные процессы. Выяснилось, что структура Солнца очень однородна. Такая структура газового шара возможна лишь в том случае, если в наружных слоях существуют стоки энергии. Почему же тогда Солнце не гаснет? Вероятно, есть и приток энергии, для которого достаточно, чтобы имелось пространство и время. Но поскольку пространство пассивно, можно предположить, что активное время — это не что иное, как физическая реальность, которая может взаимодействовать с веществом. Таким образом, все процессы происходят не только во времени, но и при его непосредственном участии. А если это так, то через время возможна связь с будущим и прошлым! Козырев провел ряд опытов, доказывающих, что время, воздействуя на вещество звезд, не дает им остыть, то есть препятствует наступлению смерти Вселенной... «Смотря на звездное небо, — сказал Козырев, — мы видим не атомные топки, где действуют разрушительные силы, мы видим проявление созидающих, творческих сил, приходящих в мир через время».

— Выходит, время препятствует энтропии? — поинтересовался Алька.

— Выходит, так, — кивнул Козырев.

Тогда осмелела и я, подняла руку и задала, как я теперь понимаю, глупейший вопрос:

— Вот вы говорите, что через время можно наладить связь с иными планетами и, если бы они оказались заселенными, была бы возможность заглянуть в будущее землян. А если это будущее кое у кого не очень приятно? Можно было бы его исправить? У меня недавно умерла бабушка. Предположим, я бы узнала заранее день и час ее смерти. Можно было бы предотвратить ее?

Худощавое лицо Козырева, как мне почудилось, растерянно вытянулось.

— Вот уж на это ничего не могу ответить, — развел он руками.

— Что он мог сказать тебе, — говорил потом Алька. — Ты задала слишком прагматичный вопрос, в то время как требуется еще множество экспериментов.

— Но скажи, я правильно поняла: время нужно не бояться, а изучать.

— Правильно, — сказал Алька и поделился новой идеей. Он придумал цивилизацию, где вместо денег в ходу информация. Скажем, идешь в магазин за мороженым и шаришь не в кошельке или кармане, а в собственной голове и вместо 20 копеек выдаешь информацию в 20 бит.

Алька фантазирует и философствует еще с детского сада, где мы были в одной группе. Я даже запомнила, как он однажды спросил воспитательницу, откуда берется мясо. Мол, корова дает молоко, овечка — шерсть, а мясо? Воспитательница ответила, что для этой цели выращивают специальных бычков, которых потом убивают. «Надо же, — огорченно сказал Алька. — А природа старалась, старалась».

Когда мы подошли к моему дому, я уже было хотела нырнуть в подъезд, когда Алька вдруг схватил меня за руку, притянул к себе и чмокнул в щеку. Я так рассердилась, что ляпнула: «Дурак!» — и убежала.

Вот такие события произошли за один вечер. Я узнала две важные вещи:

1. Времени (следовательно, смерти) не надо бояться.

2. Я нравлюсь Альке.

Оказывается, Алькин поцелуй ничего серьезного не означал: сегодня на дискотеке он даже не смотрел в мою сторону, почти все время танцевал с Валькой Зиминой из параллельного. Латукин заметил мою печаль и сказал, что Алька поделился с ним одной мыслишкой, которая может мне не понравиться. Будто бы Алька сказал, что я слишком заклинилась на смерти своей бабки. Так и выразился — «бабки». И тут со мной что-то случилось. Я сразу же почувствовала к Альке такую неприязнь, что теперь не хочу никакого общения с ним.

Вот уж никогда не думала, что Философ — сплетник.

Через наш двор проводят трубы тепломагистрали, и экскаватор ежедневно что-нибудь выгребает. Мальчишки находят то старинный Георгиевский крест, то поповскую рясу, а то скелет. Как выяснилось, на месте нашего двора когда-то было старинное кладбище, где похоронены еще участники крымской войны прошлого века.

Что же это получается? Пройдут каких-то сто, сто пятьдесят лет, и все до одного триста человек нашего двора канут в небытие, будто их вовсе и не было? Что найдут после нас в строительном хламе новостроек? Джинсы? Магнитофонные кассеты?

У меня родилась идея создать в жэковском дворовом клубе музей «Алетейя», поделилась мыслью с председателем дворового комитета Вергулиным, он посоветовал привлечь к этому делу воспитательницу.

Я нашла ее в клубной комнате, в подвале. Молодая, с веселыми веснушками, она понравилась мне, хотя позже показалась несколько вялой, инертной. Я предложила сделать стенд с фотографиями старейших жителей нашего двора.

— А что, у нас во дворе много знаменитостей? — не поняла она.

— Каждый по-своему замечателен!

Вероятно, это вырвалось у меня с излишним пафосом, потому что Нила Михайловна усмехнулась и возразила тоном взрослого, имеющего дело с ребенком:

— Чудачка. Ну вот кто, скажем, я? Обыкновенная выпускница пединститута. Зато моя однофамилица — известная всему миру фигуристка.

— Да, может, вы не менее талантливы, чем ваша однофамилица, но по ряду причин не смогли проявить свое дарование.

— Ишь ты! — удивилась она.

— В будущем достижения других станут воспринимать как собственные.

— Это что же, и замечательных людей не будет? И перестанут отмечать даты их рождения?

— Почему же, и люди, и даты останутся. Но ценить будут каждого, а более всего того, кто сделал себя гением, а не родился им. То есть сам исправил свою посредственную природу.

— Выходит, на первый план выйдет серость?

— Неужели неясно! — вновь вскипела я. — Каждый будет в почете! Понимаете — каждый!

Вроде бы в чем-то убедила ее. Во всяком случае, мою затею с клубом она поддержала.

Потрясающая информация из журнала «Химия и жизнь»:

«...сообщено о первом успешном клонировании ДНК, извлеченном из мумифицированных останков египетского мальчика, жившего около 2400 лет назад.

Автор исследований пытался выделить ДНК из трех различных мумий, но только в одном случае ему сопутствовал успех. Из мумии годовалого мальчика, хранящейся в Египетском музее в Берлине (ГДР), он выделил фрагмент ДНК, встроил его с помощью стандартных методов генной инженерии в плазмиду рИС8 и размножил. В статье приведена полная последовательность клонированного участка, содержащая около 3400 нуклеотидов».

Неужели все это лишь для того, чтобы проследить «миграцию населения», как уверяет журнал? Не верю. Цель более трудная, возвышенная и отдаленная.

Побывала в двадцати квартирах нашего дома.

На третьем этаже квартира Трелевых. Анатолий Ефимович был когда-то известным альпинистом. В его прихожей на стене висят трикони, в которых он взбирался на вершины Памира. Сейчас Анатолий Ефимович работает в ДОСААФ. Он уже немолодой, но у него совсем юная жена и трехлетний Игорек. В квартире Трелевых, как в музее: на стене в гостиной — сабли, кортики, кинжалы, револьверы. Много книг. Есть изданные в прошлом веке и даже в восемнадцатом. Я думала, что он даст для музея фото своей старенькой мамы— она уже не выходит из дому, я часто вижу ее на балконе. А он вдруг протянул мне фотографию, от которой я онемела.

— Это моя прошлая семья, — сказал он, глядя куда-то в сторону. — Все трое погибли в автокатастрофе десять лет назад.

С фото на меня смотрела веселая молодая женщина в белой шубке и шапке-ушанке, ее обнимала совсем юная девушка в лыжном костюме, а рядом стоял пушистый колобок лет трех, то ли мальчик, то ли девочка.

— Жена, дочь и внук, — глухо произнес Анатолий Ефимович.

— Как? Все сразу? — вырвалось у меня.

Он молча кивнул, потом сделал мне знак не уходить, вернулся в комнату и принес оттуда желтую от времени книгу, на обложке которой я прочла: «Валериан Муравьев. Овладение временем (как основная задача организации труда). 1924 г.».

В тот день я больше никуда не пошла — так расстроилась. И на следующий тоже. Только на третий день возобновила свои визиты. Встречали меня по-разному: у женщин начинали подозрительно блестеть глаза, мужчины как-то смущенно переступали с ноги на ногу. И каждый раз надо было заново объяснять, что мне нужно от них.

Подшефные Нилы Михайловны тоже кое-что уже собрали. И не только фотографии. Притащили откуда-то граммофон, чье-то подвенечное платье со стеклярусом, выцветшую буденовку. Это уже идея Нилы — собирать предметы быта прошлого.

В основном привлечены к этому девочки. А мальчишки, как дурачки, бегают с игрушечными миноискателями в поисках присыпанных землей «мин» — магнитов. Как только «мина» найдена, на лопатке загорается лампочка. Самые младшие тоже играют в «войнушку». Ружье у них называется «ружбайка», танк — «драндулет». Что это? Неосознанное понимание того, что какими бы уничтожительными ни были войны прошлого, все это — «войнушки» в сравнении с атомным ужасом? А может, это пренебрежительное отношение к военным терминам человека, которому жить в безвоенном двадцать первом веке?

Где-то я читала, что игры отражают и время, и современное мышление. Что такое кубик Рубика? Это игра в то, как хаос преобразуется в порядок.

«Если узнать ряд прошлых комбинаций и настоящую комбинацию, то есть как находились и находятся элементы множества по отношению друг к другу, и иметь возможность видоизменять эти отношения — можно создать новую комбинацию или возобновить любую из бывших».

Нет, это не из журнала «Наука и жизнь», публикующего варианты игры в кубик Рубика. Это из книги физика-философа Валериана Муравьева, удивительной книги-мечты о человеке, ставшем властелином времени настолько, что ему по силам возвращать ушедших. Вот что пишет Муравьев:

«В настоящее время производство создает предметы, служащие не для овладения временем, а для времяпрепровождения. Человечество как бы задается не вопросом, как преодолеть время и, следовательно, увековечить жизнь, а как провести время, как убить время, остающееся каждому до часа смерти. Как наилучше заполнить его наслаждением и дурманом!.. Вместо того, чтобы вещи превращались в живые существа, люди превращаются в бездушные чурбаны-вещи».

«...последняя задача исторического акта есть на самом деле прыжок из царства необходимости в царство свободы, уничтожение истории с ее разрушительными процессами и замена слепого ее движения разумным действием объединенных в великий союз живых существ.

Это потребует, однако, полного биологического и физиологического, а может быть, и физического изменения природы планетных обитателей. История сольется с астрономией. И конец земной истории в этом смысле будет началом солнечной, а затем истории космической...

...Надо перестать надеяться на готовую вечность и начать делать время. И по всем признакам пора такой человеческой победы приближается».

Опять звонила Максимовна. Я сказала, что бабушке в Смоленске хорошо. Кажется, она стала что-то подозревать. Тогда я соврала, что бабушка прислала посылку, в которой для нее вязаные шерстяные носки. На днях занесу.

У меня сложные отношения с Алькой. Сказала, что теперь не буду откровенничать с ним. Он сделал вид, что не понял, в чем дело. В обсерваторию я все-таки хожу, но Альку не замечаю. Впрочем, здесь и без него много интересных ребят. Миша Чиграев прямо-таки помешан на небе, ночи напролет проводит у телескопа, выдает уйму интересной информации о звездах. Взял у меня на два дня книжку Муравьева, потом размышлял о ней при Альке, и тот обиделся, что я вроде бы как забыла о его существовании. Когда Миша восторженно сказал: «Может, как раз нам и предстоит стать революционерами космоса!» — Алька ехидно хихикнул. Я взорвалась: «Но ведь ты сам говорил, что если человек не может открыть истину, то ему остается самому стать ею. Эта книжка как раз об этом!» — и я сунула ему книгу под нос, хотя давно надо было возвращать ее Трелеву.

На другой день Алька подошел ко мне на переменке и сказал:

— Заумно, но здорово. Почище любой фантастики. Надо же, какие мыслители жили на нашей земле. Даже если выяснится, что Муравьев заблуждался и наука не в силах справиться со временем, все равно эти проекты грандиозны, захватывающи и стоят внимания. Больше всего потрясает вывод, что мы, по сути, уже бессмертны, поскольку число и формула нашего «я» записаны в книгу природы и не исчезают, а только приобретают разную телесную форму. Речь вовсе не о переселении душ, имеется в виду символ, запись числа индивидуальности. А поскольку математическая формула вездесуща, она может проявиться в целой гамме форм, то есть я могу повториться сразу в нескольких людях. Но это стихийное, природное, слепое воскрешение. Так как я уже не только индивидуальность, но и личность, мне хотелось бы возродиться именно личностью. И вот здесь уже требуется вмешательство разума человека. О своей «пра» можешь не убиваться, никуда она не далась — она в твоем отце, в тебе. Если человечество не уничтожит себя в ядерной, то, возможно, ты когда-нибудь встретишь свою «пра» живой и невредимой. Правда, я думаю, что воскрешать будут в детском возрасте, к тому же телесный облик, возможно, будет иным, и вы с «пра» можете попросту не узнать друг друга.

— Алька, неужели и злодеев будут воскрешать? — спросила я, заново переживая впечатление от книги.

— Можешь не волноваться: дети ведь не рождаются злодеями. Но я думаю, что истинных злодеев воскресить попросту не удастся. И вот почему. В лице разумного человека природа обретает гармонию, а зло — это природный выкидыш. Злодей не сможет воскреснуть в силу природных законов. Какие бы усилия ни прилагали к этому, он будет отторгнут, как инородное тело, мешающее гармонии.

— Алька, — прошептала я, — хорошо, что нас не слышит классдама: она бы ничего не поняла и навешала бы на нас собак. Все-таки жизнь удивительная!

— А ты думала, — улыбнулся он. — Только бы не было ядерной.

Сегодня зашла в двадцать первую квартиру и познакомилась с очень интересным человеком. Я и раньше встречала его во дворе, но обычно проскакивала мимо. Он казался несколько странноватым: всегда что-то напевал под нос. Ему где-то под пятьдесят. Семья его в Ленинграде, а он работает здесь археологом. Зовут его Леонид Антонович Петросюк.

Когда он узнал о цели моего визита, провел в комнату, усадил за стол. В его квартире кавардак холостяка: одежда развешана по спинкам стульев, на столе во-pox книг, газет. Зато в старом книжном шкафу идеальный порядок. Но там вовсе не книги, там такое, отчего у меня захолонуло сердце, как только мне объяснили, что это.

— Мой личный музей, — Леонид Антонович указал на шкаф и стал рассказывать о каждом предмете на полках: — Видишь, вон там, слева, окаменелость. По-твоему, что это? Ну-ка, рассмотри внимательней. — Он открыл створку шкафа и положил на мою ладонь увесистый белый камень. — Краб это, заизвесткованный временем. Знаешь, сколько ему лет? Тридцать миллионов. А нашли его за квартал от нашего двора. То есть мы с тобой живем на дне бывшего моря. А вот этой амфоре — более двух тысяч лет. Может, ее держал в руках сам Скилур, скифский царь. Ты была на раскопках Неаполя Скифского? Это на окраине нашего города. Туда бы павильон с экспонатами, рядом с могилой Скилура. А так — пасутся по пустырю козы, рвут чабрец местные жители и не подозревают, что это за место. Но иногда вдруг остановятся, заслушаются с открытыми ртами экскурсовода, его рассказ о временах, которые ничем не отмечены здесь. А возьмем Генуэзскую крепость под Судаком. Как бережем этот памятник? Лужа перед крепостью громаднейшая, в ней плавают автомобильные покрышки, смрад и зловоние вокруг. Поэтому, девочка, очень приветствую твою затею — память нельзя терять. Беспамятны только скоты и идиоты. Уверен, ты не совсем представляешь, в каком краю живешь. Наш Крым — не только всесоюзная здравница, но коридор, по которому прошла уйма народа. И каждый оставил свой след. Вот и сделать бы наш край историческим заповедником. А. его во что превращают? Еще в одну промышленную точку. В кислотных дождях уже начинаем купаться. А ведь у нас каждый клочок земли таит удивительные сокровища.

Долговязый, со впалыми щеками на смуглом лице и чуть-чуть сумасшедшими глазами, Леонид Антонович говорил, страстно жестикулируя. Потом как-то сразу смолк, внимательно взглянул на меня, будто что-то решая, затем достал из брючного кармана ключ и открыл небольшой железный сейф на тумбочке.

— Сейчас, девочка, я покажу тебе нечто такое... Учти, я не каждого удостаиваю такой чести. У самого голова кругом идет при взгляде на это.

Он положил на стол что-то завернутое в темно-синюю тряпицу и стал медленно разворачивать загадочный сверток, одновременно посматривая на меня, будто желая проследить за выражением лица. Наконец тряпица полностью развернулась, и я увидела какие-то желто-черные предметы.

— Сколько лет человечеству? — неожиданно спросил он.

Я пожала плечами, потому что встречала разную датировку.

— Принято считать, — сказал он, — что гомо сапиенс где-то тысяч сорок. Так вот, этому сокровищу почти столько же. Что это означает? А то, что человек разумный гораздо древнее, чем мы думаем, — почти шепотом продолжал он, и мне стало страшновато от того, как он завращал белками глаз. — Это кость дикого осла, а на ней — смотри! — рукой неандертальца, которого мы относим к дикарям, сделана гравировка. Вот это — костяной браслет. Видишь, какой сложный на нем орнамент. А здесь — истинная поэзия!

Я взяла в руки костяную пластинку величиной с карманное зеркальце и увидела искусное изображение фигуры девушки с крыльями.

— А вот рукоятка ножа, на ней профиль неандертальца, а с этой стороны — смотри же! — абрис вполне современного человека! Что это, я спрашиваю тебя? Что?! — воскликнул он.

Я перекладывала с руки на руку загадочные предметы, которые сами по себе, честно говоря, не производили особо яркого впечатления. Но их происхождение и впрямь было головокружительно.

— Никто не верит, что я не выдумал датировку, — сказал он внезапно охрипшим голосом. — А когда верят, то пугаются и открещиваются от меня — иначе ведь придется пересмотреть кое-какие исторические факты и даже естественно-биологическую историю человечества. Но я докажу свое!

— Что именно? — пролепетала я.

— Докажу, что человечество уже было когда-то высокоцивилизованным, но, потеряв разум, привело свою цивилизацию к самоуничтожению.

Он бережно сложил свои находки в тряпицу и закрыл сейф, ключ от которого, вероятно, все время носил при себе.

— А в твой музей, девочка, я дам тоже очень ценную вещь. Фото мое ни к чему — я еще собираюсь прожить, как говорится, долго и счастливо. Для музея же возьми вот это. — Он протянул мне отшлифованный кусок кремня. — Одно из самых гениальных изобретений человека — рубило или тот же топор. Бери и помни, что в твоих руках полмиллиона лет.

Весна действует, что ли? Пришла сегодня из школы какой-то окрыленной. Весь день встречалась глазами с Алькой, смешно было и хорошо. Неужели опять пробуждается к нему симпатия?

Зойка дала ленту с приличными записями нашего городского ансамбля «Контакт». Я немного потанцевала, затем пошла на кухню и стала есть все подряд: холодный борщ, котлеты, запеканку. А когда разболтала в чае сгущенку, зазвонил телефон.

— Варя, ты? — услышала я радостный голос Максимовны и обомлела. — Наконец-то приехала! Как живешь?

С чего это она приняла меня за бабушку? Ведь все-го-то одно слово и сказала — «Алё!». Минуту стояла молча, мысли в голове носились как одурелые. И вдруг вспомнился фильм, где герой, чтобы изменить голос, приложил к трубке платок. Я вытянула из-под телефона салфетку, обмотала трубку и, подражая бабушкиному басу, сказала:

— Хорошо, Максимовна, живу замечательно.

— Как к дочке съездила?

— Нормально, Максимовна, о кэй!

— Что? — не поняла она. — Почему ты так говоришь?

Я спохватилась, набрала в грудь воздуху и, будто куда-то проваливаясь, выпалила:

— Старый ты глухарь, Максимовна! — И страшно обрадовалась, когда услышала довольное хихиканье:

— Так бы сразу и сказала. А то уж я думала, ты там заболела. Соскучилась я по тебе... — И она стала расспрашивать, как гостевалось у дочки, и что-то говорила о своих ногах, которые не желают ходить. А я что-то сочиняла в ответ, и ноги мои дрожали от этого вранья. А потом она сказала свое обычное: — Держись, Варя. А то, если помрешь, и я следом.

— Я буду жить вечно, — уверенным баском сказала я. — Значит, и ты, Максимовна, никогда не умрешь.

Я захлопнул тетрадь и поспешил в санаторий. Шел и думал о Насте. О ее ранней взрослости и еще не уплывшем детстве. Давно не было на душе так тревожно, горько и хорошо. Еще издали увидел голубую искру Настиной тенниски, мелькавшую то в одном конце площадки, то в другом. Надо же, как увлеклась — битый час гоняет, и хоть бы что. Правда, подойдя ближе, понял, что она на пределе: лоб влажно блестит, губы полураскрыты, щеки пылают. Но и в таком виде, взлохмаченная, с пятнами испарины на лопатках, она была хороша — вся полет и движенье.

— Настя! — отечески строго окликнул я. — Не пора ли отдохнуть?

Она остановилась, бросила в мою сторону уничтожающе веселый взгляд и, приветственно махнув рукой, кинулась в последнюю атаку, но уже через минуту пластом лежала на скамье, от вмиг подкосившей ее усталости.

Вечером Лёха уступил мне свою очередь на балконе, поскольку затемпературил — по санаторию шастала какая-то зараза — то ли грипп, то ли ангина, и он, вероятно, подхватил ее.

Я долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок. Из головы не выходила Настя, ее дневниковые записи, происшествие близ Горелого леса. Во всем этом было много ирреального, и сама Настя уже казалась моим вымыслом.

Я давно подозревал, что мы живем в фантастическом мире, еще с детства, когда однажды угодил под дождь, льющий с чистого, без единой тучки неба. Быть может, туча скрывалась за домом, но впечатление от ослепительного дождя, падающего с синевы летнего неба, было столь огромно, что, одновременно восхищаясь этим необычным зрелищем, я испытал страх — состояние, в чем-то схожее с тем, какое охватило меня при виде Насти, рисующей в воздухе бабушку.

Мое поколение, можно сказать, выросло в атмосфере чудес. Для моего сына телевизор, космические ракеты, атомные реакторы существуют чуть ли не с доисторических времен, поскольку все это уже было до его появления на свет. Я же хорошо помню первый телевизор на нашей улице и как по вечерам соседи собирались в доме его владельца смотреть «маленькое кино». Да что там телек или даже первый искусственный спутник! Такой обычный в сегодняшнем обиходе полиэтиленовый пакет был в конце пятидесятых годов настоящей сенсацией: прозрачный, легкий и воду не пропускает! Лавина научных открытий, технических новинок, промышленных диковинок продолжает захлестывать нас, но то, чему я на днях оказался свидетелем в окрестностях этого затерявшегося в горах санатория, не очень вписывалось в мою модель реальности, хотя и не слишком противоречило ей.

Опьяненный чистейшим горным воздухом, я разрешил своему воображению вопреки йоговским установкам сорваться с узды и понестись вскачь. Почему бы не допустить, размышлял я, что человеческий мозг, будучи источником электромагнитных волн, формирует зрительные образы, которые затем по принципу обратной связи излучаются в пространство в виде объемного, голографического изображения? А коль мозг так зримо объективирует фантазию, не становится ли она составной частью реальности? Если это так, значит, не очень уж и беспочвенны мечтания Насти о возвращении «тех, кого уже нет», ибо сила человеческой памяти способна оживить и камень.

Позволив хаосу мыслей овладеть собой, я не успел войти в аутогипноз, заказать себе на завтра хорошее самочувствие и утомленно упал в сон.

Проснулся на рассвете с болью в затылке. Молодым тенорком, будто кем-то заведенный, орал в поселке молодой карликовый петушок нянечки Кати. С трудом открыл я глаза и уперся взглядом в небо, взлохмаченное облаками, сквозь которые мерцала Венера, то исчезая, то вновь ярко пульсируя в небесных прогалинах. Было свежо, но не холодно. Я лежал на раскладушке, в пелене вползшего на балкон облака, притворившегося туманом, и вскоре вновь провалился в сон. Но уже через несколько минут бежал босиком через палату, вниз по лестнице из корпуса, на свою излюбленную тропу, ведущую через лес к морю.

Ветер приволок белесые облака, и я двигался сквозь плывущие в косматых лохмотьях деревья, с трудом узнавая знакомые места. Темные стволы зыбко и невесомо парили в воздухе, как бы волоча за собой по земле облачные шлейфы. Я бежал трусцой, с липкой влагой на обнаженном теле. Земля была мокрой, холодной. Пора было уже кончать с летним режимом, облачаться в спортивный костюм и кеды.

Полчаса занимает спуск вниз, к морю, где на пустынном пляже я буду выкручиваться в сложных позах, потом бултыхнусь в холодную воду и галопом вновь через лес. Между тем для здоровья достаточно пробежки и обычной спортивной разминки. Вот если бы в результате моих усилий я сейчас оторвался от земли и взмыл в воздух...

Резкая боль прошила левую ступню, я охнул и, едва не упав, остановился. Темная бутылочная стекляшка глубоко вонзилась в бугорок под большим пальцем. Не парадокс ли — я, который умею лежать без единой царапины на битом стекле, поранился крохотным кусочком. На одной ноге подскакал к ближайшему дереву, прислонился к стволу и вытащил осколок. Пошла кровь. Зажав ранку ладонью, я опустился на землю и услышал слабое журчанье. Что это? Прислушался. Откуда здесь вода? Куда я попал? Неужели свернул в сторону?

Розовато подкрашенные рассветным солнцем облака совсем прекратили движение, превратившись в клочья тумана, зацепившегося за ветки деревьев и кустарников. Откуда-то слева пахнуло гарью, и я понял, что заблудился, свернул с тропы, ведущей к морю. Неужели рядом Горелый лес? Но как это могло случиться? Ведь я вроде бы спускался вниз, а тогда мы карабкались на высотку, и Горелый лес, по моим представлениям, находился совсем в противоположной стороне от «йоговской» тропы.

Подождав, пока кровь перестанет сочиться, я поднялся и заковылял на звук воды, ибо не имел другого ориентира. Между тем солнце поднималось все выше. Заплутавшие в лесу облака превратились из розовых в золотистые, я двигался в светящейся дымке, сожалея, что рядом нет моих спутниц — вот бы повосхищались этим зрелищем.

Идти было больно, нога опять закровоточила, но я уже не останавливался, решив быстрей добраться до воды. Роднички выскочили неожиданно из-за огромных, поросших мхом и обвитых папоротником валунов. Я подошел к воде и ступил в нее раненой ногой, с усмешкой подумав: «Лета или Мнемозина?» Холодная горная вода быстро остановила кровь. Я содрал со ствола полу-высохшего дуба кусок коры и подвязал к подошве шнурком от кед, завалявшимся в кармане шорт.

Воздух еще не прогрелся, и меня познабливало. Пришлось растереть грудь ладонями, сделать несколько резких взмахов руками. Уже было собрался потихоньку топать назад, в санаторий, — по моим предположениям, он находился где-то справа, — когда вдруг закружилась голова, и слабость во всем теле заставила присесть на валун. Вероятно, сказался перепад атмосферного давления — в горах это особенно чувствительно. С востока, поглотив солнце, на лес надвигалась тяжелая туча, облачная дымка вокруг меня из золотой стала густо молочной. Тишина. И ни малейшего желания не только идти куда-то, но и пошевельнуться. Так бы вот и сидеть вечно, уставясь в чистые струйки родников, бьющих из подземного мрака.

С шумом разрезая крыльями воздух, из глубины леса вынырнула странно яркая птица и уселась в трех шагах от меня, на ветку коряжистого дуба. Я присмотрелся и оторопел: передо мной сидел филин с опереньем попугая. Будто лесной пожар опалил его крылья, они горели черным багрянцем, грудь отливала зеленью. Сказочную расцветку нарядно дополнял ярко-желтый клюв. Глаза филина почему-то были закрыты. Он переступил когтистыми лапами с одной ветки на другую, трижды ухнул и замер, застыл чучелом. Из-за ствола дуба проступила на миг и тут же исчезла в тумане чья-то фигура. Я оцепенело смотрел в ту сторону, желая и одновременно боясь возможности повторения увиденного. И оно вновь появилось. Как под гипнозом, не сводил я глаз с вышедшего из тумана. Он стоял совсем недалеко от меня, но я не сразу узнал в нем девушку, а узнав, безвольно уронил руки. Это была Саша Осокина, какой я знал ее двадцать лет назад. В красном свитерке и темно-вишневом шлеме, такая вся прочная и земная, будто мы расстались час назад. Щеки ее пылали — то ли от смущения, то ли отражая цвет свитера и шлема. Не переступая кем-то обозначенной границы у дуба со спящим на нем филином, она села, прислонилась к дубу спиной и по-мальчишечьи вытянула стройные ноги в узких брючках. По лицу ее бродила улыбка, глаза слегка рассеянно, как от долгого бега, скользили по мне.

— Салютон, миа эстимата самидеано! — Саша весело подняла руку над головой. — Чего молчишь? Бросил эсперанто? Разуверился в едином человечестве? Эх ты, неверный. — Она подняла голову и обернулась к филину. — Спит, старый хрыч. И еще долго будет дрыхнуть. Сторожит наше царство.

Я медленно встал, устремляясь к ней, но она резко выбросила вперед руки, предупреждая: «Нельзя!» — и я вновь опустился на валун, едва чувствуя землю под ватными ногами.

За минувшие годы Саша лишь раз приснилась мне. Жена часто допытывалась, при каких обстоятельствах она погибла, и каждый раз я повторял историю, в которой не все договаривал, так что со временем и сам поверил в свою версию. Я рассказывал Ирине о нашей поездке на Ай-Петринскую яйлу в надежде увидеть мустангов, о том, как внезапно стал накрапывать дождь, по шоссе будто разбрызгали мыльную пену, таким оно стало скользким от прибитой дождем пыли. Я не вписался в линию дороги, и мотоцикл, развернувшись, врезался коляской в ограничительный бордюр, отчего я вылетел из седла, чудом остался живым, а Сашу гибельно швырнуло на бетонный столб.

На самом деле никакого дождя не было, стоял теплый майский день, все вокруг цвело и зеленело. Окрестности Бахчисарая пылали в маках — никогда после я не видел их в таком изобилии.

Мы заглянули в ханский дворец, и Саша была разочарована тем, что знаменитый фонтан оказался таким неэффектным: в ее воображении он мощными струями радужно бил в небеса, а тут какие-то невзрачные капли... «Не все фонтан, что бьет в небо», — неуклюже сострил я, и Саша кольнула меня ироническим взглядом.

Она была на голову выше, я остро переживал это неравенство и порой грубил. Крепко сбитая, крупнокостная, она, однако, смотрелась изящно и была похожа на героинь ефремовских романов о будущем землян. И когда однажды, опоздав на занятия, Саша распахнула дверь сорок шестой аудитории и звенящим голосом прокричала: «Человек в космосе! Наш!» — я не удивился. Именно Саша и должна была принести эту весть. Что тогда поднялось! Все повскакивали с мест, Сашу подхватили под руки и стали качать, будто не Гагарин, а она открыла первую страницу космической эры.

Затея хоть мельком увидеть мустангов была несерьезной. Я понимал это, но от поездки не отказался — уж очень хотелось провести с Сашей день. На курсе многие увивались за ней, но она как-то ровно относилась ко всем, и я немного нервничал, сомневаясь, по-настоящему ли ей нравлюсь. Встречались мы уже третий месяц, и в тот день я намеревался окончательно прояснить наши отношения, желая и одновременно боясь определенности. Уж если бы Саша сказала «да», это было бы на всю жизнь, я же тогда о женитьбе еще не помышлял.

С детства я был сладкоежкой и, увидев бахчисарайских мальчишек, жующих казинаки, забежал в продуктовый. Потом мы мчались по шоссе в пестроте летящих огней мака по обеим сторонам дороги. Полуоборотом головы я то и дело требовал у сидящей сзади Саши восточную сладость, от которой до сих пор горечь во рту. По кусочкам заталкивала она в мой рот плитку из прессованных в сахаре семечек подсолнуха, пока это ей не надоело. Я получил легкий пинок в спину и недоуменно затормозил. «Садись сзади и лопай, а я порулю», — сердито сказала она. Я немного учил ее водить, это получалось у нее совсем неплохо, но уже начинался курортный сезон, дорога была загружена, и я не сразу решился исполнить ее прихоть. Сейчас мне кажется, что она прямо-таки насильно согнала меня с сиденья и умостилась за рулем.

Мы мчались по шоссе, и на нас оглядывались — таким эффектным водителем была Саша. Я летел и думал о своем везении — отхватил лучшую девушку курса!

А потом все было так, как я рассказывал Ирине: мотоцикл не вписался в резкий поворот и налетел на бетонное ограждение, за которым была пропасть...

И вот Саша, живая, невредимая, сидит напротив и разговаривает со мною.

— Как там мои родители?

Что я мог ответить? Что ни разу не навестил их, да и к ней-то пришел лишь пару раз? Смотрел я на нее и не понимал — то ли сплю, то ли грежу наяву. И зачем она явилась?

— Ты сам вызвал меня, растормошил своей памятью и воображением. Слава Птичкин сказал бы: все объясняется магнитным полем. Помнишь, о чем бы ни шла речь, он все относил к влиянию магнитного поля. В его представлении это была какая-то волшебная палочка, открывающая любую таинственную дверь. Кстати, как он поживает?

«Года два назад встретились возле театра. Он шел с женой и дочерью лет четырнадцати. Девушку зовут Сашей, в память о тебе» — хотел было сказать я, но язык прилип к гортани.

— Это он сам признался или твои догадки? — прочла мои мысли Саша.

«Сам».

— А ведь ты вычеркнул меня из своей жизни, — донеслось из тумана. Саша сняла шлем, пригладила челку, и от этого живого жеста мне стало еще более не по себе. — Ты живешь так, будто меня никогда и не было. Я и все, кого уже нет, — на самой дальней периферии твоего сознания.

«А как должно?»

— Должно считать нас временно ушедшими. И не говорить всегда лишь в прошедшем времени: «Я знал такую-то...» Надо: «Я знаю ее, его...»

«Не совсем понятно».

— Но ведь это просто. Считай, что мы попали в беду, из которой рано или поздно нас должны вызволить.

«Кто?!»

— Люди. В полную меру осознавшие, что такое смерть.

«И что же это, по-твоему?»

— Самое великое унижение личности. И еще — забвение. Пока хоть кто-нибудь помнит, есть надежда вернуться. Это не метафора.

«Тогда мистика. И то, что я вижу тебя, разговариваю с тобой — тоже мистика. Так это называется в нашем реальном мире».

Саша улыбнулась, отчего на ее левой щеке проступила ямочка.

— Мистикой часто называют то, чему не могут пока найти объяснение.

«Уж не хочешь ли ты уверить меня в том, что продолжаешь существовать в каком-то потустороннем мире?»

— Если в твоем представлении память — это потусторонний мир, пусть будет так.

«Память... Организация и сохранение прошлого опыта. Память сенсорная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. Долгосрочная и кратковременная. Наследственная. Память привычки, память духа».

— Да. Память духа.

«Выходит, память духа — это какое-то иное пространство, откуда ты чудесно материализовалась, чтобы побеседовать со мною?»

— Неважно, как это называется. То, что ты сумел разглядеть меня в тумане — свидетельство деятельной силы твоей памяти.

«Скажешь, в этом роднике и впрямь вода Мнемозины?» — мысленно выдавил я с усмешкой.

— Родник. Горы. Горелый лес. Особое место.

На моих глазах Саша медленно растворилась в тумане-облаке, подхваченном и унесенном в глубь леса порывом вновь прилетевшего откуда-то ветра.

Голову будто обручем стянуло. Ломило виски, во рту пересохло. Опираясь о сук, я встал, сделал шаг и вскрикнул от боли в ступне.

Три дня провалялся я в постели с температурой под сорок. В палату то и дело заглядывали Настя с Валентиной, приносили мед, лимоны, укладывали грелку в ногах.

Я горячечно размышлял о встрече в лесу. Было ли это на самом деле или пригрезилось? Если это бред, то и бабушка, материализованная Настиным взглядом, тоже плод моей горячки. Но ведь я заболел позже, а до этого читал Настин дневник...

— Мы ходили за Горелый лес вдвоем? — исподтишка поинтересовался я у девочки.

Она как-то странно взглянула на меня и ответила:

— Мы были втроем.

— А Валентина ездила домой? — пошел я на хитрость.

— Ездила, — кивнула Настя и добавила: — А потом и я поехала,

— Ничего не понимаю. Выходит, и ты, и твоя бабушка, которую ты так чудесно оживила, приснились мне? — пробормотал я.

— Почему же? Я и впрямь показывала свою акварель. — Настя быстро отвернулась, но я успел уловить легкую улыбку на ее губах.

— Речь о той, из воздуха... — настойчиво напомнил я. — Ну а дневник имморталистки тоже причудился?

— Нет, я упоминала о нем, когда вы косвенно обозвали меня считающей лошадью.

Я облегченно вздохнул — хорошо, что не знает о моем любопытстве... И сказал напрямик:

— Но ведь это же было на самом деле: трое всадников, ты сидишь на валуне, из воздуха появляется бабушка...

Она загадочно промолчала, поправила сбитое у меня в ногах одеяло и вышла, а передо мной в подробностях выплыло туманное утро, из которого так невероятно появилась Саша Осокина, чтобы напомнить о себе и о всех, кого я потерял.

Через неделю срок путевки кончился, и я уехал домой.

###### \* \* \*

Ветер набирал силу. В доме было тихо, лишь из детской доносилось бормотанье сына, пересидевшего у телевизора. Надо бы запретить ему вечерние бдения.

Я перелистал страницу маминого альбома и вложил туда свой поминальный список. Пусть лежит — все равно до лета еще далеко.

*1985 г.*